

Н. В. ГОЛУБЕВА.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

ТРИ ВСТРЕЧИ С НИМ В 1887, 1893 и 1899 гг.

Публикация П. С. Попова

Надежда Владимировна Голубева, урожд. Бегичева (1853—около 1940) — писательница. Отдельными изданиями опубликованы следующие ее произведения: «Лиза». Рассказ. 1892; «На мельнице». «Таможня». Рассказы Н. Бегичевой. 1898 и «Путевые заметки от Одессы до Иерусалима». СПб., 1898. Была замужем за Валентином Яковлевичем Голубевым (1846—1920?), служившим одно время агентом от Министерства финансов при Берлинском дворе. В начале 1890-х годов Голубев был членом Совета Министерства финансов и членом Комитета Добровольного флота. Благодаря знакомству с Голубевым Чехов пересылал книги ссылкой на Сахалин.

В письмах Чехова имеются неоднократные упоминания о Голубевой, главным образом, в связи с семьей Киселевых, — она была родной сестрой М. В. Киселевой (XIII, 248; XV, 12; XVII, 365; XVIII, 99). Голубева однажды была в Бабкине при Чехове и позднее виделась с Чеховым в Петербурге. В печатаемых главах не вызывает сомнения ее присутствие в день именин ее отца в Бабкине в 1887 г.; интересны сообщения о гувернантке Елизавете Александровне, прозвище которой «Вафля» использовано Чеховым в «Дяде Ване»; любопытны отдельные детали описания жизни в Бабкине, недостаточно освещенной мемуаристами. Наряду с правдивым изложением большинства эпизодов, мемуары Голубевой страдают известными недостатками. Многие Голубева знала лишь понаслышке от Киселевых, между тем она искусственно сконцентрировала все, что ей было известно о семье Чеховых, при описании тех нескольких дней, которые она провела у сестры. Многие при этом передано ею неточно и небрежно. Явные ошибки мы исправили, не оговаривая, по отношению к ряду сцен и обстоятельств мы даем ниже в примечаниях уточнения, пользуясь главным образом указаниями покойной М. П. Чеховой, любезно прочитавшей по нашей просьбе рукопись Голубевой.

Во второй главе Голубева описывает свою встречу с Чеховым в Петербурге в 1893 г. Голубева дала свой рассказ «Лиза» на отзыв Чехову, предварительно написав ему в январе 1890 г. следующее письмо: «Многоуважаемый Антон Павлович, с замиранием сердца решаюсь воспользоваться любезным предложением вашим прочесть мою первую слабую пробу пера. Со страхом и трепетом препровождаю мою рукопись на ваш строгий, но откровенный суд, — признаюсь, до произнесения которого я буду в положении мыши, которую слегка прикрыла кошкина лапка. Я уже и сейчас воликуюсь, а что же это будет, когда буду знать, что она у вас и что вы, читая эту длинноту, зеваете, но длиннота будет тянуться и, наконец, может быть, вы пожелаете застрелить меня из револьвера, как ту даму, которая четыре часа читала свое произведение голодному и усталому редактору. Думая о таких ужасах, казалось бы, лучше не подвергаться опасности быть застреленной, да русский авоська смущает! — Я так в себе мало уверена, что всякому приговору поверю; в оценке моих произведений я совсем младенец... Присланный мой рассказ я и не мечтаю печатать — я сама вижу, что техники в нем нет, ни-ни-ни, но, прочтя его, вы как художник почувствуете, есть ли искорка у меня того, что дает право писать... Говорят, что следующие три рассказа уже гораздо лучше

написаны, может быть, это и правда. Еще раз извиняюсь за труд и скуку, которым вы подвергаетесь, читая рассказ „Лиза“. Черкните, когда я могу вас ждать к нам обедать. Мы обедаем в пять часов».

Рассказ «Лиза» был опубликован под инициалами «Н. Б.» в сентябрьской книжке «Русского вестника» за 1892 г., — по-видимому, не без содействия Чехова.

Третья встреча, описанная в главе четвертой, подтверждается письмом Чехова к М. П. Чеховой от 4 марта 1899 г. (XVIII, 99).

Мемуары Н. В. Голубевой печатаются в сокращенном виде по рукописи: ЦГАЛИ, ф. 60, оп. 1, ед. хр. 2.

Г л а в а 1

Село Бабкино Звенигородского уезда находится в 25 верстах от станции Крюково и в 4 верстах от Нового Иерусалима.

Зять мой, Алексей Сергеевич Киселев, купил это имение для его больной жены, моей родной сестры, которой доктора предписали деревенский воздух или же предложили ехать за границу, но отнюдь не оставаться в Москве. Зятю моему очень улыбался переезд в деревню, но поездка за границу приводила в ужас! Он был русский человек, по определению Чехова был настоящий «русопет»...

Так что, когда Алексею Сергеевичу кто-то указал на продающееся маленькое имение Бабкино, он опрометью отправился в Бабкино и купил его за 19 тысяч у владевшего им немца...

Из рук немца Киселев получил дачку как игрушечку, без копейки долга.

Помню неописуемый восторг зятя, когда вернулся он к нам в Москву с купчей крепостью в руках. В это время, т. е. в 1874 году, я вышла замуж и уехала с мужем в Петербург, а Киселевы переехали в Бабкино.

Письма с описанием бабкинских красот природы и всех прелестей деревенской жизни очень долго не прекращались.

Меня усиленно звали приехать в гости, но я не могла исполнить их желания по независящим от меня причинам и только в 1887 году в первый раз посетила Бабкино.

В письмах сестры промелькнула как-то фамилия Чеховых, сестра писала, что к своей дочери, семилетней Саше, пригласила земского учителя Ивана Павловича Чехова¹. Эта фамилия мелькнула в голове и пропала. Чехов ли, Иванов ли — в то время разницы не имело для меня.

В 1886 году Киселевы отстроили стоявший при немце заколоченным большой дом и переехали в него. А флигель по просьбе Ивана Павловича Чехова на летнее время сдали многочисленной семье Чеховых, состоявшей из отца, матери, пяти братьев и одной сестры.

Об этом обстоятельстве сестра мне сообщила с большим восторгом, отзываясь с похвалой о своих новых жильцах. Тогда об Антоне Павловиче как о писателе еще не было слышно ничего.

В 1887 году я жила с детьми под Боровичами у станции Угловка; так как это было по той же линии и недалеко от Крюкова, я решилась поехать в Бабкино на именины к отцу 15 июля. Это лето отец проводил свой отпуск в Бабкине.

В этот день было первое мое свидание с Антоном Павловичем Чеховым*.

Налево красивой декорацией темнел Дарагановский лес, точно нарисованный живописными штрихами кистью художника. Направо и прямо виднелись села с их садами и избушками, издали казавшимися маленькими, как грибки, разбросанные на зеленой полянке.

* Далее пропуск в рукописи.

В очень ясную погоду из-за линии темных лесов можно было разглядеть вооруженным глазом золотые купола Нового Иерусалима; подернутые легкой дымкой знойного воздуха, они как бы тонули в синеве неба.

Несмотря на очень сильную головную боль, я не отрывала бинокля от глаз, глядя на чарующую картину, такую богатую тенями, светом и красками.

С одной стороны на реке стояла хорошо оборудованная купальня, с другой — в сторону леса, перекинуты были лавы и виднелась протоптанная тропинка к Дарагановскому лесу. Тропинка эта имела очень привлекательный вид, теряясь в строевом Дарагановском лесу.

Я смотрела в бинокль, — вдруг на опушке мелькнула голубая рубашка с грибным кузовом в руках, быстро мелькнув по тропинке, по лавам, <она> точно провалилась куда-то. Как только фигура эта мелькнула, сестра моя, Мария Владимировна, быстро надела на нос пенсне, поискав глазами голубую рубашку, с кокетливой довольной улыбкой произнесла: «С пустой корзиной!.. Отлично! Я так и знала... Пари он проиграл». Отец и зять на это ей что-то ответили, но что, я не поняла, не зная о ком даже идет речь.

Я сидела на низком кресле с распущенными волосами, сестра поминутно давала мне что-то нюхать, прикладывала кусочки лимона к вискам, но все это мало мне помогало.

Кроме нашей семьи, на балконе сидел еще старик Владиславлев, когда-то знаменитый тенор Большого московского театра. Я не принимала никакого участия в разговоре, а сестра вполголоса рассказывала мне про разные домашние дела и про гувернантку, которую я в первый раз увидела за обедом. Она так поразила меня своею уродливостью, что я старалась не смотреть в ее сторону. Лицо ее было исковырено оспой... Когда она ушла, — хороша? — спросила меня сестра. Я ничего не успела сказать сестре, а она продолжала: А очень дельная и умная девушка, но самодурка ужасная, иногда бывает невыносима своим обожанием нас, а семью Чеховых (это наши квартиранты) ненавидит, тогда как это прелестная семья. Больше же всех она ненавидит Антона Павловича...

— За что же? Может быть он над ее красотой подтрунил?

— Ну, нет, как это можно, у нас все ее жалеют. Ненавидит она его и их только за то, что они любят нас, мы очень подружились с ними, они так же увлекаются лесом, как я и она. Нас она любить никому не позволяет, считая, что это право принадлежит только ей одной.

— Но ведь это же смешно!

— Конечно, даже глупо, но она ведь старая институтка, так ею и останется на весь век. А ты знаешь, что Антон Павлович писатель? Хотя еще неизвестный, но очень талантливый.

— Тебе, тоже писательнице, — сказала я, — такое знакомство очень приятно...

— Мы с Антоном Павловичем большие друзья, хотя ссоримся каждый день.

— Ссоритесь? За что же?

— Ах, это у нас серьезное дело! Во-первых, трунит надо мной как над писательницей, всегда величает меня знаменитостью — это раз; второе, всегда мои излюбленные грибные места, которые я скрываю от всех, он непременно найдет и всё соберет, за это ему очень достается от меня. А еще всегда уверяет всех, что я, поймав двух пескарей, иду с победоносным видом будто наловила сотню. За это и злюсь на него. Не ссоримся мы с ним только, когда на пруду ловим карасей, тут у нас бывают самые душевные разговоры на темы литературные. Он удивительно талантливый, тонко все понимающий человек. С громадным запасом юмора и с удивительно поэтической грустью, с глубоким пониманием души

человеческой, но ведь он еще так молод, он только что кончил медицинский факультет².

— Значит он доктор? — перебила я.

— Да, доктор. А вот тут-то я его и извожу, доказывая, что я лучше доктор, чем он; ко мне идут крестьяне за советом и за лекарствами, а его боятся.

— Практикует он?

— Нет. Вызывали его несколько раз куда-то на вскрытие. Это он очень не любит.

— А ты по-старому увлекаешься лечением?

— Еще как! Только недавно вышел у нас с сестрой Антона Павловича, с которой я очень дружна, маленький гаденький случай. Антон Павлович на нас кричал и хотел привлечь к ответственности. Знаешь, вспомнить страшно, — продолжала она. — Попали в такую грязную историю, после того и охота лечить пропала.

— Если не секрет, — скажи, в чем дело?

— Секрет этот только от Алеши, если бы он узнал, что бы тогда было!.. Дело, видишь ли, было очень серьезное, — она даже для чего-то надела пенсне и деловито начала:

— Ты, знаешь, как я удачно лечила?

— Как же, знаю, своим пациентам ты касторки не жалела, а теперь вдруг завелся настоящий доктор и отбил у тебя практику. Конечно, досадно, я тебя понимаю.

— Вздор! — рассердилась она. — Доктор тут совсем ни при чем, от него нам досталось только за то, что мы с Марией Павловной сделали операцию его инструментами.

— Ах! — воскликнула я, — и сумасшедшие же вы две!

— Да уж случай такой вышел, что операция необходима была, — сказала она очень серьезно. А он, вообрази, так озлился, что кричал нам: «А теперь за вашу же глупость пойдете под суд; вы вскрывали нарыв тем самым lancetом, которым работал я при вскрытии трупа. Ваш больной наверное умрет от заражения крови».

— Можешь себе представить, что стало с нами? Было уже около 10 часов вечера, Алеша и отец были в Москве, а Антон Павлович только что вернулся, — это мы в его отсутствие распорядились. Услыхав такую ужасную вещь, мы ночью же хотели бежать в Никулино спасти оперированного мальчика, но дождь лил и было так темно, что идти одним, без фонаря, было совсем невозможно. Просили, умоляли Антона Павловича пойти с нами и помочь в нашей беде. Не захотел. Мы не спали всю ночь и чуть свет побежали в деревню. Каково же было наше удивление, когда мальчишка наш встретил нас на ногах, со словами: «Спасибо вам, тетеньки, что меня хорошо порезали». Тут только мы поняли, что Антон Павлович хотел нас напугать, будто инструменты после вскрытия не были прокипячены. Когда мы вернулись домой, то с гордостью заявили ему, что операция вполне удалась. Вот тут-то мы его заподозрили в зависти к нашему успеху, так как он все резал мертвецов, а мы спасли человека. Мы были очень горды, целый день не обращали на него никакого внимания и без него ушли за цветами в Дарагановский лес.

— Ну, что же? После этой операции вы уже не решались кого-либо резать?

— После этого случая, который нас напугал, мы не дотрагиваемся до его шкатулки...³

— Вот я тебе рассказала все наши бури в стакане воды. Скажи же и ты, как ты живешь? Что поделяваешь?

— Я, да? Как я живу? — вот голова все болит, знаешь, мне полежать бы немножко, она бы прошла.

— Отлично, подожди, сейчас я все устрою.

Она ушла.

В это время на дорожке, к которой я сидела спиной, послышались шаги, отец повернул голову и произнес:

— А! Это вы, Антон Павлович, вы что?!

Послышался ответ:

— Я за червями,— и юркнул под балкон.



ДОМ В УСАДЬБЕ КИСЕЛЕВЫХ «БАБКИНО» БЛИЗ ВОСКРЕСЕНСКА.
В БАБКИНЕ ЧЕХОВ ПРОВЕЛ ЛЕТО 1885—1887 гг.

Акварель Н. П. Чехова

Дом-музей Чехова, Ялта

Через пять минут по той же дорожке опять послышались шаги, появился второй брат Чехова, и ему тоже понадобились черви.

И так все братья, один за другим, шли за червями, а потом куда-то скрывались. Сидевшие на балконе улыбнулись, кто-то сказал:

— Это уж новое баловство Антон Павлович придумал.

В это время пришла сестра... и сообщила мне, что семья Чехова собирается устроить бал в честь именинника и в честь приезжей.

— А ты вон такая кислятина.

Я пообещала выздороветь. Она ушла, а я заснула.

Г л а в а 2

Б А Л

В Бабкине в пять часов подавался чай. Это был час, когда все те, кто хотел видеть хозяев, мог пожаловать. С часу же дня, т. е. от обеда до пяти, всем было известно, что отдыхали хозяева и все служащие.

Потребовать какой-либо маленькой услуги от служащих во время их отдыха строго-настрого запрещалось.

В пять часов дом оживал и наполнялся гостями.

К чаю меня сестра разбудила. Голова моя прошла, но заплести свои громадные волосы я боялась. Не предполагая найти в столовой посторонних и не зная бабкинского режима и обычая, я вышла в таком русалочьем виде в столовую. Там оказалось уже масса народу. Я было назад, но меня не пустили. Я была очень поражена, увидя стол накрытый, как в самый большой праздник: с тортами, с бабками, с массой варенья и конфект. Меня познакомили с доктором Архангельским ⁴ и его женой ⁵, были еще какие-то люди из Воскресенска, а я именно думала, что если гости, то уж никто другой, как только Чеховы.

После чая мы с отцом сели на угловом диванчике под чудными олеандрами в цвету. К нам подсел доктор Архангельский, интересовался причиной моих головных болей, дал несколько советов, прописал рецепт и сам ушел с зятем. Все куда-то разошлись.

Подсел к нам Владиславлев и стал очень забавно рассказывать эпизоды из куриной жизни. Он был большой куровод...

Стало уже темнеть, зажгли лампы, вдруг в коридоре, разделявшем гостиную от столовой, послышался сильный шум, гам, точно ввалилась туда толпа каких-то азиатов. Я не успела выразить даже моего удивления, как в столовую вошли ряженные. На каком-то ящике сидел страшный турок, ящик несли четыре черных эфиопа и — о, ужас! — шли прямо на меня. Турок выхватил кинжал и занес надо мной, я вскрикнула и, как безумная, вскочила на стол, который затрещал и собрался упасть, едва успел отец меня подхватить. Вышло и смешно, и глупо, и неловко. Ряженные смущались не меньше меня, но турок, ловко соскочив с ящика, галантно представился: «Художник Левитан». Эфиопы, сняв маски, представились: «Четыре брата Чеховы». Среди них был и Антон Павлович.

Шарада, которую собирались разыграть, благодаря моему малодушному поступку расстроилась. В чем она заключалась, так и осталось неизвестным. За пианино села гувернантка, прозванная моею сестрою «Вафля», потешно огрызаясь на Антона Павловича; он, невозмутимый, серьезный, давал ей такие реплики, что удержаться от смеха было невозможно. Смеялись все, но только не он сам.

Дирижируя танцами, Антон Павлович придумывал такие фокусы, что танцующие умоляли дать передышку. Смеху, переодеваний было так много, что даже не оставили моего старика-отца и зятя. На них напялили студенческие мундиры, узкие до невозможности: им приходилось танцевать с распростертыми, как крылья, руками.

Я была больше зрительницей, чем участницей общего веселья. Антон Павлович поражал меня своей захватывающей веселостью, таким хорошим молодым задором, изобретательностью всякого рода шуток и затей; как под волшебную флейту, заставлял он всех веселиться. Ровно в 11 часов он остановился посреди комнаты и безмолвно, но торжественным жестом, указал на часы... Мигом из залы исчезло все, чему не полагалось быть, ряженных и гостей точно ветром сдуло.

Посреди комнаты остался сам Антон Павлович со щеткой в руках, подметая пол. Ибо всем было известно, что в доме Алексея Сергеевича

после девяти часов прислугу беспокоить не разрешалось. Зная это, Антон Павлович и взялся сам за щетку. Около пианино оставалась только одна «Вафля», приготовлявшая ноты для пения.

Антон Павлович, приведя в порядок зал, поставил стулья на места, сел в уголок около двери, взъерошил свою кудрявую шевелюру и сидел в ожидательной позе.

Вышел петь старик Владиславлев... он исполнял глинкавский репертуар. Чехов сидел в уголке, подперев голову руками и как будто уйдя совершенно в другой мир.

Владиславлев пел чудесно; когда он кончил, только через минуту послышался вздох и шорох в комнате. Чехов встал, как-то выпрямился весь, глаза его сияли, как звезды, казалось, что искры летели из них, лицо его было бледно и вдохновенно. Он молча крепко пожал руку Владиславлеву и опять сел на свое место, взъерошил волосы, откинул голову.

Я наблюдала за ним из-за большой олеандры. Мысль его витала где-то далеко-далеко, и такая глубокая грусть лежала на его лице, еще не так давно сиявшем беззаботною юношеской веселостью.

Запела моя сестра, ученица Даргомыжского, «Мне грустно потому, что весело тебе...» (романс Даргомыжского). Чехов закрыл глаза рукой и так сидел все время. Потом спела она романс: «Русая головка...» (его же) и, наконец, любимейшую вещь «Ехали бояре с Нова города...».

Восторг от пения сестры был совершенно другой, чем от пения Владиславлева. Чехов аплодировал, кричал так, как кричат только в театрах, вызывая примадонну. На лице его опять появился задор и какое-то опьянение. Сестра спела по требованию всех нас еще «Ивушку...». Наша публика бесновалась, чуть ли не ломала стулья. В это мгновение кто-то погасил лампу.

Мигом все стихло.

Я не поняла, зачем погасили лампу, оказывается, концертное отделение заканчивалось всегда «Лунной сонатой» Бетховена, которую «Вафля» исполняла в совершенстве, но только всегда при лунном свете.

Антон Павлович ушел на крыльцо и сел на нижнюю ступеньку, по-видимому, это место им было абонировано. Я предложила было идти туда же, но отец сказал: «Антон Павлович любит быть там всегда один».

Соната в таком исполнении и в такой обстановке произвела на меня сильное впечатление.

По окончании ее все разошлись, не прощаясь и не произнеся ни слова... Когда я была в своей комнате, ко мне зашел зять и сестра и тут они много рассказали о семье Чехова... Зять хвалил Чеховых за их культурность, за их большую деликатность.

Чеховы занимали флигель, по наружному виду очень некрасивый, но удобный и поместительный.

При первых разговорах о сдаче флигеля зять очень долго колебался, сдавать им флигель или нет; боялся пустить к себе такую ораву молодежи, тем более, что во флигеле с черного хода две комнаты занимал раненный офицер, которого моя тетка, сестра милосердия, извлекла из мертвецкой (1877 г.), куда его бросили, приняв за мертвого. Он был весь искалечен под Рушукон, где работала моя тетка. В Бабкино его привезли еле живого... Об его существовании узнали только от тетки, обратившейся к Киселевым с просьбой приютить одинокого молодого калеку-мученика.

Киселевы по своей необыкновенной доброте не только приняли чужого им больного человека, но и приложили все заботы и старания, чтобы ему было как можно лучше и покойнее. Ему отвели две комнаты и кухню, стены и пол обили войлоком и коврами, чтобы никакой шум не долетал до больного. А тут вдруг соседи и в таком размере и в таком возрасте, когда

от молодежи трудно требовать тишины и покоя... Из этих соображений Алексей Сергеевич долго не соглашался на просьбу Ивана Павловича уступить им флигель. Но, наконец, сдал флигель.

Однако деликатность семьи превзошла все ожидания Киселева, и бедняга больной скоро с ними подружился. Антон Павлович прозвал его: «Тышечка в шапочке». Фамилия офицера была Тышко, Эдуард Иванович, а «в шапочке» потому, что часть черепа у Тышко была вдавленной, и он носил черную шелковую шапочку...⁶

Антон Павлович высоко ценил моего зятя за его исключительно гуманное отношение к прислуге и за такое нежное отцовское отношение к чужому больному и очень капризному человеку.

Отец и мать Чехова были в Москве; я с ними не познакомилась. Моя сестра воспиталась Марией Павловной, сестрой Чехова, в то время совсем молодой девушкой, которую почему-то прозвали: «Мапа, ай, ай, ай». Почему ее прозвали так, я не знаю, но она сердилась и краснела.

Очень много слышала я восторженных отзывов по адресу Антона Павловича как о милейшем, талантливейшем весельчаке. Говорили и об Николае Павловиче, это был художник-карикатурист, очень умный и талантливый, но пьяница. Про других не говорили ничего, так как они еще были молоды.

На другой день я встала очень рано. В доме была полная тишина; предполагая, что никто еще не встал, я вышла на маленький балкончик, которым заканчивался широчайший и очень длинный коридор, разделявший дом на две половины. Балкончик очень живописно зарос вьюнками и диким виноградом так густо, что на него солнечные лучи не попадали. Я несколько минут посидела на ступеньках, ведущих в парк. Парк при утреннем освещении еще горел алмазами утренней росы, но так как реки отсюда не было видно, я пошла по дорожке, которую в Бабкине называли набережной. <Она> шла по берегу и имела несколько висячих балкончиков, с которых шли лесенки прямо к реке Истре, через которую были перекинуты лавы на другой берег.

Невдалеке от лав начинался Дарагановский лес, излюбленное место бабкинских обывателей. Об этом лесе говорили как о месте, полном таинственных чар и несметного богатства ягод, цветов и грибов.

Пройдя несколько шагов, я остановилась, — на самом повороте берега я увидела громадный серый зонт, а под ним спиной <ко мне> сидел художник Левитан и что-то усердно зарисовывал. Я тихонько свернула влево от набережной, предо мною открылась чудесная лужайка с красивыми кустами кленов. Сделав несколько шагов, я наткнулась на другого художника, Николая Павловича, он, лежа на ковре, тоже что-то зарисовывал в альбом. Мне не хотелось, чтобы он меня увидел, и я свернула куда-то назад в чащу, т. е. туда, где дорожки уже не расчищались. Пройдя некоторое пространство, я вдали заметила реку, только что хотела свернуть к реке, как между деревьями мелькнула голубая рубашка. С нахмуренным лбом Антон Павлович быстро ходил взад и вперед, что-то обдумывая. Вдруг он остановился, поднял голову, глянул по направлению реки и бегом побежал к берегу. Я пошла по тому же направлению, голубая рубашка, мелькнув предо мною несколько раз, куда-то исчезла, а я вышла к балкончику с лесенкой и тут только увидела, что Антон Павлович не шел, а летел по направлению к лавам, к которым подходила моя сестра с полной корзиной грибов. Повязанная желтым деревенским платком, с подоткнутой юбкой от лесной сырости, на фоне свежей зелени, залитая лучами солнца, вся фигура ее была очень живописна. Встретились они посреди лав, Чехов преградил ей дорогу, и как будто между ними начался крупный спор; она прятала корзину за спину, а он кипятился и наступал на нее,

и я нашла, что оба они похожи на индейских петухов, собирающихся драться. Я села на балкончик и стала ждать, чем кончится это представление. Видна была мимика столкнувшихся неприятелей. Заметив меня, они стали подниматься на балкончик, где сидела я. Поднявшись, имея в качестве публики только меня, разыграли импровизированный водевиль («грибное дело»). Исполнение вполне было достойно Художественного театра. К сожалению, передать эту импровизацию не могу. Да она вышла бы бледна без действующих лиц...

Суть этого грибного дела заключалась в том, что сестра чуть свет потихоньку пошла в лес и будто бы все до единого гриба собрала, тем обездолив семью Чеховых. Но преступнее с ее стороны было еще то, что она провела даже собственного мужа, вместо себя положив на постель чуело.

До обеда наступала тишина в доме. Гостям предоставлялось занимать самих себя, и каждый мог делать, что ему вздумается.

Сестра, утомившись утренней прогулкой, спала. Я занесла кое-что в дневник, дети не дали мне покоя, потащили меня с ними гулять. В их болтовне третьим словом был Антон Павлович. Они мне рассказали, что недавно вечером он объявил детям, что завтра он именинник, очень серьезно добавив: «Прошу позаботиться о подарках». Сашу он почему-то называл «Василиса», а Сережу — «Финик». И вот весь дом поднялся на ноги, придумывая достойно его чину и званию подарки. Из всех проектов остановились на одном — подарить ему пуговицу для пьедесталов (брюк) будущего знаменитого писателя. Положили эту пуговицу в крошечную коробочку, эту в другую коробочку, эту другую коробочку в третью, десятую, сотую. Так дело дошло до ящика десятифунтовой посылки. Ящик в ящик, коробка в коробку, последняя была спичечная коробка,



ТРЕПЛЕВ С ЧАЙКОЙ

Гравюра из американского издания пьес
Чехова («The Plays of Tchekhov»)

Нью-Йорк, 1935

в которую была положена пуговица, завернутая в розовый клякспапир.

Делом этим занимались дети, взрослые, гости и прислуга. В назначенный день для именин ему торжественно поднесли этот ящик. Говорят, надо было видеть мимику Антона Павловича, когда он открывал эти коробки и пока не дошел до последней с подарком.

У детей был целый альбом, где Чехов посвящал детям юмористические стихи с рисунками. Это был шедевр остроумия. К сожалению, альбом этот не сохранился.

После обеда хозяин отправился с визитом к мадам «Храповицкой», попросту сказать — спать.

Сестра, отдохнувшая до обеда, предложила мне, Антону Павловичу, Левитану и Мапа отправиться гулять, чтобы показать мне достопримечательности Бабкина и его окрестностей.

Прежде всего мы отправились в лес через лавы, издали казавшиеся прелестным мостиком. Вблизи же полное разочарование; лавы ходят ходуном, трещат, щели в них в ладонь. Лгуну совсем опасно проходить по ним. Если бы мне не стыдно было обнаружить свое малодушие, я бы с удовольствием вернулась домой. Но делать было нечего, вздохнув, пошла, зажмуря глаза.

Лес, правда, очень декоративен, очень таинственен. Усевшись на лужайке под высокими соснами, Антон Павлович дал волю своему красноречию, пришлось смеяться до слез. Меня немного коробили шутки по адресу Левитана, а тот, как говорится, и ухом не вел, точно и не про него говорили. Лежал на животе и объедался красной, сочной земляникой.

Все они привыкли прыгать по кочкам и корням, я же быстро устала. Пришлось сократить прогулку. На возвратном пути зашли в мастерскую Левитана, помещавшуюся в бывшей бане. Предбанник служил ему очень уютной и кокетливо убранной спальней, баня — мастерской.

Она имела три окна, около которых были сделаны широкие полки наравне с подоконниками, на них лежали груды этюдов, заваленные гипсовыми фигурами, руками, ногами, черепами. Стены сплошь увешаны видами Бабкина и красовалась сегодняшняя сценка на лавах в красках; так художественно воспроизведены, так похожи были действующие лица, что мы невольно ахнули от восторга.

Но тут же чуть не произошла катастрофа. Среди рисунков, красок и бумаг, валявшихся в беспорядке на полках, лежал и револьвер. Мария Павловна, которую немного поддразнивали равнодушием к Левитану, увидев револьвер, вскрикнула: «Это еще что такое?» С этими словами порывисто взяла револьвер в руки. Раздался выстрел, и пуля пролетела мимо уха Левитана.

Оказалось, что курок был зачем-то поднят. Выстрел произошел мгновенно. Мария Павловна чуть не упала в обморок. Чехов напустился на сестру, а я с сестрой на Левитана, который стоял бледный, прижимая рукой вздвигшееся ухо⁷.

Сестра моя сейчас же повела Левитана в дом для подачи первой помощи, а Антон Павлович с сестрой, страшно взволнованные, отправились домой. День был испорчен.

После чаю сестра с «Вафлей» пошли ловить карасей. Я села на балкончик, чтобы еще раз полюбоваться чудным видом. На другой день я должна была уезжать. Совершенно неожиданно ко мне подошел Антон Павлович и сел рядом. Поговорив на злобу сегодняшнего дня о происшествиях в бане, мы совершенно незаметно перешли на литературу. Он жаловался, как трудно бывает добиться, чтобы его печатали, что свою профессию доктора он не любит, не чувствует призвания, тогда как литература, музыка,

пение и природа его захватывают. Тема для разговора была необъятная, и мы оба, сами не замечая, увлеклись ею. Но как-то совсем незаметно перешли на Бабкино и его обитателей.

Между прочим, Антон Павлович выразился так: «Бабкино — это золотые россыпи для писателя. Первое время мой Левитан чуть не сошел с ума от восторга от этого богатства материалов. Куда ни обратишь взгляд, — картина; что ни человек, — тип. Конечно, — вздохнул он, — не моему таланту охватить все, тут и Тургенева мало, сюда бы Толстого надо». И он стал перебирать всех обитателей Бабкина, начиная с Алексея Сергеевича.

— Это такая цельная, русская, прекрасная натура, — сказал он про него, — его все существо ярко излучает всю его внутреннюю красоту. Что касается Марии Владимировны, я боюсь об ней распространяться, как бы не поняли меня иначе, скажу только, что я стою перед ней, как язычник пред кумиром, готов сжигать фимиам пред ее алтарем. У ней, что ни слово — бриллиант, что ни движение — штрих художника, а пение ее? — это я уж и определить не могу, тут восторга мало, тут нужны слезы.

Он встал, взволнованно прошелся, потом, остановясь против меня, продолжал тем же повышенным тоном.

— Ну, а ваш родитель, Владимир Петрович?! Этот прямо с Олимпа пожаловал на землю; ему даны все качества олимпийских богов. Мы часто с ним беседуем. Придем в его храмину, соберемся все, сколько нас есть, сидим у его ног на полу, слушаем музыку его голоса...

Чехов опять вскочил, глаза его заблестели каким-то особенным огнем! — Нет, это такое понимание души человеческой, души художника, он насквозь ее видит всю, как есть в линиях и в красках. Это удивительно, для нас, смертных, он кажется чем-то сверхъестественным.

Заметь мою улыбку: — Что? Вы находите, что я преувеличиваю?

— Нет, нет, — ответила я, — я просто вспомнила олимпийского бога вчера в мундире вашего брата.

Чехов так и покатылся со смеху, а он очень редко смеялся.

— А что вы скажете о «Вафле»? — решила спросить я.

— Тип, очень яркий тип! Девушка без роду, без племени, перезревшая в стенах института, да еще... Такое уродство! Несчастливая! А как талантлива, как музыкальна! Вы знаете, надо войти в ее шкуру, чтобы понять драму жизни, ведь с таким лицом могли взять к себе в дом только Киселевы и так относиться к ней, как относятся они.

— Значит ее ненависть к вам вас не беспокоит?

— Ничуть. Все люди, — продолжал он, — как люди, а она урод страшный; как может она смотреть равнодушно на всех окружающих, может ли она верить той ласке, которую ей уделяют люди. Конечно, нет, но сама она горячо, безумно обожает Киселевых, сестру вашу и несчастного «Тышку»; ненавидит же всех тех, кто смеет питать хорошие чувства к этим лицам.

— Знаете, — продолжал он, — скажу по секрету, я, грешный человек, иногда по утрам подсматриваю, когда Алексей Сергеевич — это человек-уникум, — сказал он как бы в скобках, — разбирает разные домашние дела. Для нашего брата это такой драгоценный материал — зарисовывать с натуры такие сценки. Например, начинается с того: утром хозяин встал, в халате прогулялся несколько раз по столовой, заварил кофе, полил цветы. Первая к нему является Лилиша: — вот тип, да какой драгоценный! Я уже набросал рассказ о Лилише, только еще вчера.

— Ну, что же дальше? — заинтересовалась я. — Знаете, Лилиша ведь еще пострашнее «Вафли», — сказала я.

Чехов засмеялся.

— Она мертвый череп на палке, на которую прицеплен кринолин.

— Алеше было три года, когда она была <его> нянькой, — подсказала я, — и она до сих пор с ним не расставалась и ухаживает за ним, как за трехлетним. Называет его до сих пор «маленьким», а ему, слава богу, сорок лет.

— Ну, да, слушайте дальше. Вот он наливает чашку вроде купели и показывает ей место около себя, говорит: «Садись и пей!» Она захихикает, повертит руками перед ним, покачает головой, произнеся: «Ишь, маленький, маленький».

Это означает: «что с него взять, дурачек еще, сажает меня с собой рядом». Одна и та же история происходит каждый день. Она берет чашки и уходит в буфетную. Потом как-то вижу: стоит Киселев на крыльце, она несколькими ступенями ниже, треплет носовой платок в руках и кричит на него: «Бесстыдник, бессовестный эдакий». Оказывается, он вытер платком что-то не носовое. Его фигура походила на сильно провинившегося школьника второго класса. — «Вот подожди, я тебя!» — и с негодованием уходит. Она признает только его, на его добре лежит, как свирепый волкодав.

Марию Владимировну и детей она не замечает. Когда Алексея Сергеевича дома нет, она на стол не подает, что полагается, т. е. вино, водку, закуски.

И вот раз Мария Владимировна, чтоб показать мне весь этот курьез, оставила меня обедать. Сели за стол, на столе нет ни вина, ни водки, ни закуски; нет и самой Лилиши. Мария Владимировна нарочно мне громко говорит: «Будьте добры, Антон Павлович, позовите Лилишу, да скажите ей, что она забыла подать водку, вино и закуску».

Я пошел, смотрю, она сидит в буфетной, сидит подгорюнившись, на меня не смотрит. Я передал поручение, не двинулась, удивленно спросила только: «Чего?» — махнула рукой, произнеся: «Иди, батюшка, с чем пришел, потому у тебя кишка еще тонка». Так и не дала ничего.

Сама выпить любит. Хватит глоток — другой и уже готова. Идет, шатается и поет: «Моя русая коса — всему городу краса», а на голове ни одного волоса. Голова на шее, как на тонкой палке мотается. Кринолин как-то вбок торчит, — потеха!

Смеяться же над Лилишей никто не смеет: потому Алексей Сергеевич такую бучу поднимет. Как только услышит он «Моя русая коса...», сейчас летит к ней, возьмет ее тихонько за плечи, поведет ее и сам уложит.

— Знаете, это прямо трогательно. А дальше? — спросила я.

— Дальше?! Потеха! — Чехов махнул рукой. — Дверь с шумом открывается и влетает «Вафля», злая, красная, седые волосы клочьями висят. Алексей Сергеевич испуганно оглядывается, как бы ища, куда ему спрятаться. Она не говорит и не кричит, а визжит и ругательски ругает Алексея Сергеевича, называя его скверным хозяином, что кто-то что-то украл и ее любимой корове чего-то не додали.

— Мерзавцы, воры, разбойники, — визжит она, — а вы, вы? Ну какой вы хозяин? Не можете приказать, чтобы моей чернавке давали бы отрубей...

— Пирожного, мороженого прикажете, — живо перебивает ее хозяин, разозлясь окончательно.

— Это преступно, это ужасно относиться так к скотине.

— А к человеку можно?

— Вы ничего не понимаете в хозяйстве, вам все смешно, потому что вы просто глупы!

При этих словах Киселев делает большие глаза, подбирает полы халата, произнося: «Ты ошалела, друг мой, поди выпей воды, а я пока...» — он быстро выскакивает в коридор, захлопнув дверь за собой, точно кто-то

ТРИ СЕСТРЫ

Гравюра из американского издания пьес Чехова («The Plays of Tchekhov»)

Нью-Йорк, 1935



его ловит; потом, приоткрыв дверь, по-мальчишески весело говорит: «Пожалуйста, не ходите, куда я иду, мы можем там встретиться — это будет неприлично».

Не сразу поняв, в чем дело, она смолкает, потом, послав ему вслед дурака, начинает хохотать. Успокаивается и как ни в чем ни бывало идет заниматься.

— Значит, — говорю я, — лейденская банка разрядилась.

— Вот именно. Не наскандалив, не облая кого-нибудь, за дело она не может приняться. Если бы вы только знали, какие тут были стычки из-за «Тышки», на которого она, между прочим, молится.

— В чем же дело, если она его так любит?

— Очень просто, если у нее попросили денег для «Тышки», она бы дала, а то занял Алексей Сергеевич у кого-то, ну и скандал, кричит: «Киселев разоряется из-за „Тышки“». Тот в обиду!

— А как же это потом все уладилось?

— Алексей Сергеевич серьезно на нее рассердился и задал ей такого фефера, что она три дня к обеду не выходила. Собиралась уезжать, но через три дня стала шелковая... «Тышка» долго дулся, я трунил над ним, предлагал ему сделать ей предложение и жениться на ней, доказывая, что она бесится от любви к нему.

— А я нахожу, что в конце концов это кончится не веселым водевильчиком.

— У других кончилось бы тем, что кто-нибудь кого-нибудь повесил, но у Киселевых все обойдется прекрасно. Все это происходит у нее от болезненного обожания Киселевых, обласкавших, приголубивших ее, ее, от которой невольно отворачивался каждый.

— Сестра рассказывала, какие она злобные словечки изрыгает.

— О, да. Настоящая ракета. Стоит только поднести спичку, взорвется, взлетит к небу и оттуда рассыпается самыми ядовитыми словами. Ведь она очень не глупая, дельная и музыкантша великолепная. Но — истеричка.

В это мгновение с хохотом и шумом подлетели к нам дети. Повисли на шее Антона Павловича и начали, перебивая друг друга, рассказывать про новую глупость любимца Антона Павловича, Ивана.

Чехов преобразился, слушая детей. Они рассказали, что задали Ивану такой вопрос: что такое звезды? При чем дети уморительно копировали заикающегося Ивана. На вопрос детей он ответил так:

— Лес знаешь?.. — «Знаешь», — отвечал маленький Сережа.

— Мох знаешь? — «Знаешь».

— Светлячков знаешь?

Дети с хохотом ответили: «Знаем».

— Во мху видал натканных светлячков? Вот тебе и звезды.

Дети так и покатались со смеху.

— Да, он у нас астроном, — сказал Чехов, причем схватил Сережу и начал подкидывать, как мячик.

Саша прыгала от восторга и визжала. Чехов бросился ловить ее. Дети умчались. Они прервали нашу беседу, и мы тоже пошли к дому. По дороге мы встретили «Вафлю» и сестру, очень довольных.

Чехов скорчил такую смешную физиономию, укоряя их, что они похитили его карасей. Это возмутительно, его ноги больше не будет на пруде.

День, как и вчера, кончился музыкой и пением...

На другой день я уехала из Бабкина.

Глава 3

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Вторая встреча с Антоном Павловичем произошла в 1893 году в Петербурге у меня на квартире, на Шпалерной улице. Чехов приехал по делам в Петербург. Заехал ко мне на минутку утром, говорил, что очень занят. Я пригласила его в тот же день обедать — долго колебался, но все-таки дал слово быть.

Боже, как изменился он за эти шесть лет!... — подумала я. Преподобного милого, веселого, шаловливого Чехова и помину не было. Одет он был корректно, по-столичному. Шапки выющихся волос не стало; они не были характерно взъерошены, как прежде, они были гладко зачесаны и только на лбу один непокорный завиток напоминал прежнее. Лоб стал больше. Глаза глубже и больше. Весь облик носил печать жизненных передраг. Так что первый визит произвел на меня очень грустное впечатление.

К обеду он, конечно, опоздал. К счастью, моего мужа, с которым он был знаком только понаслышке, не было дома: он был в командировке.

В гостиную Чехов вошел очень застенчиво, извиняясь, что опоздал. Он окинул гостиную быстрым взглядом; я поняла его взгляд и поспешила сообщить ему, что муж мой не будет с нами обедать, так как он в отъезде.

Чехов вдруг просветлел и брякнул по-прежнему:

— Ах, как я рад! Знаете, Надежда Владимировна, ведь у меня таких хороших манер, как у вашего мужа, нет. Мой папаша и мамаша сел-ледками торговали.

Обедали мы с ним вдвоем. За обедом Чехов старался держать себя по-столичному и был очень натянут, чем ставил меня в некоторое затруднение.

Я раньше много слыхала о его странностях и рассеянности, но тут, за обедом, я никак не ожидала их. И вдруг я вижу, что Чехов удивительно

странно вертит салфетку, будто она его страшно раздражает, он ее мял, крутил, наконец положил за спину. Сидел как на иголках. Я не могла понять, что все это значит?

Вдруг он опять выпалил:

— Извините, Надежда Владимировна, я не привык сидеть за обедом, я всегда ем на ходу.

Я не ожидала такого признания и сама почему-то сконфузилась.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, гуляйте, я забыла про эту вашу привычку.

— Вас я не стесняюсь, а вот ваш лакей меня стесняет, — сказал он мне тихо.

— Он сейчас уйдет.

Чехов стал ходить взад и вперед, подходил к столу, на минутку садился, как бы торопясь, ел и снова начинал ходить, произнося:

— Ничего не поделаешь, привычка.

Я постаралась кончить поскорее обед и перейти в гостиную, где было очень уютно и пылал камин.

Видимо, Антон Павлович был очень утомлен, я усадила его в покойное кресло. Сев в него, он произнес своим прежним тоном:

— Вот это я понимаю — хорошо! Люблю сидеть у огня. Вот бы еще сюда «Вафлю» за рояль.

Мы пили кофе, и разговор мало-помалу наладился на приятельский тон... Видимо, он отдохнул, был доволен, что никто не входил: камин так приятно разливал тепло. Мне очень хотелось спросить его, читал ли он мой рассказ и каково его мнение о нем...

— Как же, читал и слышал много отзывов.

— Верно ругали меня? — вырвалось у меня, и я страшно покраснела.

— Зачем? За что вас ругать? Напротив, хвалили, это нашего брата, работающего из-за куска хлеба, поносят. Вы, ведь, пишете так, «пурселепетан»*.

— Вы так думаете? — немного обиделась я.

— Не думаю, а говорю так потому, что уверен. Вы и ваша сестра, вы обе брызжете талантами, но, простите, из вас никогда ничего не выйдет потому что вы сыты и не нуждаетесь. Вы никогда не переступали порога редакции, куда наш брат ходит, как на пытку, стоит, как нищий с протянутой рукой, держа плод своих мучительных трудов. Чаще всего в его руку кладут камень, а не деньги, из-за недостатка которых он корчится и крутится, как дождевой червяк.

— Простите, — сказала я, — ведь так страдают бездарности, а не таланты же.

— Таланты?! — Он горько усмехнулся и очень серьезно продолжал: — Для того, чтобы вас признали талантом, чтобы печатали и поставили на путь славы, случай играет гораздо большую роль, чем талант. Были писатели совершенно без таланта, которые сначала сумели попасть в тон, работая без усталости, не смущаясь тем, что их произведения беспощадно им возвращали; упорным трудом научились писать по-литературному, и такие добивались цели и становились писателями не первоклассными, может быть, но заслуживающими внимания публики. С талантом без труда ничего сделать нельзя.

— Почему же вы, как друг моей сестры, ничего не говорили ей, не удержали ее от выступлений на литературном поприще?

— Как не говорил? Говорил, много, много раз говорил, ссорились. Она три дня не ловила карасей, чтобы не встретиться со мной. Я, правда, немножко пересоллил, сказав, что она похожа на курицу, которая снесет

* Искаженное французское выражение: для препровождения времени.

яйцо и возвещает о своем произведении всему миру. Так, впрочем, делают и все женщины. Она ужасно рассердилась.

— И я бы рассердилась,— ответила я...— Знаете, Антон Павлович, вы очень изменились, прямо до неузнаваемости.

— Удивительного ничего нет. За эти шесть лет я постарел на двадцать лет.

— Неужели писательство на вас так дурно повлияло?

— Ах, знаете, давайте говорить лучше о чем-либо другом...— Он перевел разговор на Бабкино, куда он уже два года не ездил. Киселевых видел редко. С Марией Владимировной сначала переписывался очень часто, потом реже почему-то, сам не знаю, почему перестал писать. Думаю, что просто лень обуяла...

Он сказал:

— Как хорошо сидеть у вас в этих креслах. Я отдохнул. За день я набегался, почему-то стал быстро утомляться. Сегодня надо еще сделать кое-что. Завтра уеду в Москву.

Мы простились. Во всей его фигуре видна была такая усталость! Я подумала: весна его жизни миновала, лета не было, наступила прямо осень.

Он ушел. Я долго сидела одна, и было мне ужасно грустно. Такой короткий срок, такая невероятная перемена!

Г л а в а 4

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ

В 1899 году я зиму проводила в Крыму, в Алушке. В аптеке я случайно услышала, что Антон Павлович Чехов живет в Ялте. Это известие меня очень обрадовало.

В Алушке зимует народу мало, самое большее — семейств пять, шесть с тяжело больными... И вдруг имеется возможность повидать свежего человека, да еще кого же? Антона Павловича!

Бегом неслась я в гору к себе домой. Послала за моей верховой лошастью и поскакала в Ялту. День был свежий, но чудный. Море было, как летом: покойное, тихое и приветливое. Чехова дачу я нашла очень скоро. И, должна сознаться, что не без трепета подала в дверь свою карточку открывавшей мне дверь прислуге. Я чувствовала, что Антон Павлович уже не тот; про него кричит вся Ялта, за ним толпами бегают дамы, в окно бросают цветы. Стоит ему появиться только на музыке, его окружают поклонницы, воспевают ему фимиамы, льстят ему, пишут признания в любви, но он, по обыкновению, как мне говорили, идет и никого не замечает.

Все это рассказала мне знакомая, встретившая меня в Ялте. Рассказала, что он очень болен, что у него чахотка. Под впечатлением всех этих рассказов я была в большом волнении: примет он меня или нет. Ожидать пришлось очень долго. Положение становилось неловким. Наконец, явилась прислуга со словами: «Просят подождать в гостиной».

Зашла в гостиную с полузакрытыми ставнями. Целый час я просидела в гостиной... Но вот дверь открылась и вышел незнакомый человек с лицом, похожим на пергамент.

— Верно, доктор,— мелькнуло у меня в голове,— оттого и ждать пришлось.

Вошедший остановился как бы в нерешительности, я тоже сидела на своем месте, как вдруг он обеими руками схватился за голову и надорванным голосом произнес:

— Ах, черви, милые черви! Ведь я не хотел вас принять. Я знал, что вы всколыхнете во мне... прошлое.

Он сильно закашлялся.

Я стояла перед ним, не зная, что делать, что сказать,

— Ну, здравствуйте же! — сказал он. Взял мою руку, крепко поцеловал два раза. Потом сел опять, закрыв лицо руками и помолчав, сказал:

— О, как вы мне напомнили счастливые дни в Бабкине!

Голос у него дрогнул... Я растерялась и не знала, что сказать. Совсем неожиданно для себя я спросила:

— Антон Павлович, какие черви? Я не понимаю.

Не отрывая рук от лица, он проговорил:

— Да, да, этого вы ведь не знаете. Это когда мы делали вам смотрины и лазили под балкон по очереди за червями.

Я засмеялась. Он посмотрел на меня так хорошо, пристально, по-старому произнес:

— Но... вы, вы больны?

— Да, лечу пятое воспаление легких, — ответила я.

Он покачал головой, посмотрел куда-то вдаль, лицо было какое-то грустное, голос хрипловатый, глаза с лихорадочным блеском. Перекинулись несколькими пустыми словами... Опять молчание.

— Какая у вас хорошенькая дачка, — сказала я, чтобы что-нибудь сказать.

— Я еще другую купил.

— Вот как. Где же? В Ялте же?

Он назвал местечко за Лименами. Я несколько раз туда ездила верхом, но дорога там так ужасна, что верхом трудно проехать. Я удивилась и сказала:

— Ведь там же ничего нет, кроме одного домика, стоящего одной ногою в море.

— Вот, вот, его-то я и купил.

— Вот фантазия! — возмутилась я. — Что же, будете жить там как рак-отшельник?

— Хотел.

— Туда же ведь и дороги нет, — приходится ехать чуть не по крышам саклей!

— Это-то мне и нравится. Я уже начал его обставлять — везу туда несколько чайных чашек.

— Какой вы чудак! — сказала я.

— Поневоле станешь чудачком, когда все потеряно и жизнь гаснет, как свеча.

Он начал часто кашлять. Вид у него был больного человека. Мне казалось, что разговор мой его утомляет... Я встала, встал и он.

— Когда поедете на вашу новую дачу, заезжайте ко мне, ведь мимо.

— Заеду, — проговорил он, смотря на меня такими грустными глазами, что казалось вот-вот у него покатятся слезы. У меня они уже подступали к горлу. Взял мою руку, поцеловал и как-то судорожно отбросил ее, повернулся и молча ушел. Ушла и я, давась слезами...

До самой Алупки я ехала шагом, вспоминая мельчайшие подробности нашей встречи. Эти страдальческие глаза, эти глубокие морщины точно на пергаментном лбу!..

О бабкинских ни о ком ни слова... Меня мучила мысль, почему же о бабкинских ни слова, главное, о моей сестре, которую он так глубоко уважал и любил. Загадка эта стала мне понятна, когда я случайно узнала от знакомых, что между сестрой и Чеховым пробежала черная кошка из-за дружбы с Сувориным, которую она осуждала, о чем и написала ему откровенно⁸, но он ей не ответил. Так их переписка и кончилась, и больше они не видались.

Больше не видалась и я.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ И. П. Чехов не был земским учителем, а служил в продолжение 1880—1884 гг. в приходском училище, построенном фабрикантом Цуриковым в Воскресенске.

² Чехов окончил университет в 1884 г.

³ По устному рассказу М. П. Чеховой этот эпизод описан у Голубевой неверно. Вскрывали нарыв у девочки из Бабкина. Мария Павловна сказала Киселевой, что хорошо бы вскрыть нарыв, так как он совсем наизреет. Антона Павловича не было. Мария Владимировна и Мария Павловна взяли у него два скальпеля и стали вскрывать, но скальпель оказался тупым, и сразу не удалось сделать разрез. Когда нарыв был вскрыт, то Мария Павловна вспомнила, что Антон Павлович рассказывал, как он недавно вскрывал труп и как это было трудно тупым скальпелем; невольно пришлось в голову, что если это тот же скальпель, то девочку могли заразить трупным ядом. Мария Павловна помнит, как она ходила по парку и мучилась. Приехал Антон Павлович и рассеял все сомнения: он пользовался другим скальпелем.

⁴ Павел Арсеньевич *Архангельский* (ум. 1914 г.) — врач Чикинской земской больницы, в двух верстах от Воскресенска; будучи студентом, Чехов работал у Архангельского. В архиве Чехова имеется три письма к нему Архангельского. Им опубликованы мемуары: «Из воспоминаний об А. П. Чехове». — «Отчет благотворительного общества при Воскресенской земской больнице за 1910 г.». М., 1911, стр. 28—32.

⁵ Мария Морицовна Архангельская (ум. 1901 г.).

⁶ Быть может, первоначально Тышко и нашел приют у Киселевых, но в 1885—1887 гг. он жил в Воскресенске и при Чеховых только бывал в Бабкине. 27 февраля 1886 г. Киселев писал Чехову: «Сейчас еду к Тышёнку... кушать заливное, самим им приготовленное».

⁷ Рассказ этот, по-видимому, неточен. М. П. Чехова эпизод с Левитаном и револьвером передает так. Однажды Левитан, никого не предупредив, приехал под Воскресенск и поселился в Максимовке близ Бабкина. Братья Чеховы направились к нему. Приходят, оказывается Левитан стрелял в себя, но попал в стену. На него находили припадки тоски, или, как выразилась Мария Павловна, — мерлехлюндия. Однако версия М. П. Чеховой в свою очередь расходится с рассказом М. П. Чехова, который сообщает, что о приезде Левитана узнали очень поздно, шел дождь, тем не менее отправились в Максимовку. Левитан уже спал; Чеховы, не постучавшись, «вломилась» в избу и направили на постель Левитана фонарь, он схватил револьвер и решил защищаться («Вокруг Чехова», стр. 141).

⁸ Мемуаристка передает неверную версию ссоры Чехова с Киселевой. Письма М. В. Киселевой о Суворине нет в архиве Чехова. Переписка с Киселевыми была и в 1900 г. Эта переписка подлежит изучению, так как связь с Киселевыми и впечатления от Бабкина имели многообразное значение для творчества Чехова. Укажем на три факта, не известных в литературе о Чехове.

24 сентября 1886 г. Киселев писал Чехову: «Раздражает меня вконец Елизавета Александровна. Финал всему, что она решительно нас покидает. Вопрос теперь в том — как с ней расправиться? Заглянув в книжку, я подвел итог, выпило должен Елизавете Александровне 536 руб. 40 копеек. А я все-таки придумал — посадил мою литературшу и заставил ее написать слезливое письмо пензенской тетушке, выручай, дескать, меня, мужа и детей, избавь нас от кикиморы-пипелы». Также в письме от 6 октября того же года: «Судьба наша в руках пензенской тетушки, если нам улыбнется, то ставлю две бутылки настоящего Редера». В пьесе «Вишневый сад» надежды Гаева и Раневской на ярославскую тетушку, которая должна была прислать десять тысяч, чтобы выкупить вишневый сад, опираются на бабкинские разговоры и письма о пензенской тетушке. Советы Лопухина и споры о том, как спасти вишневый сад, представляют живой отклик на обстоятельства бабкинской жизни. Киселев писал Чехову 4 февраля 1900 г.: «Жаль только, что мы решились окончательно проститься с Бабкиным, должны продать и как можно скорей, чтобы развязаться с долгами, которые измучили нас вконец. Предполагали продать половину Бабкина, ту часть, которая к лесу и по дороге к Ефимову, под выстройку дач, в виду скорого открытия Виндавской жел. дор., но такая продажа не может состояться по простой причине, что нет охотников строиться». Бабкино перед революцией принадлежало известной в Москве фирме Колесниковых, державших в Бабкине обширную белошвейную мастерскую.

Есть еще одна фигура в бабкинском окружении, которую следует отметить в связи с творчеством Чехова. Княгиня в одноименном рассказе Чехова и описание ее поездок в монастырь близко напоминает кн. Веру Николаевну Лобанову-Ростовскую, проживавшую верстах в шести от Бабкина и в десяти — от Нового Иерусалима в своем имении «Горки», где дом был обставлен с исключительной роскошью, находившейся в резком контрасте с окружающей беднотой. 1 октября 1886 г. Киселев писал Чехову: «Третьего дня был у кн. Лобановой, завтра опять еду на целый день и вечер, а может и ночь захвачу. Хороша собой и богата, а я сижу без гроша». В следующем письме Киселев снова писал о Лобановой.